

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Борис РЕЗНИК Пациент из моего детства15
Вероника КОВАЛЬ Тропюю трепетной и вечной43
Галина ПЕДАХОВСКАЯ Ничейные дети55
В. КОРСАК Одесса. Исход...66
Валентина ГОЛУБОВСКАЯ Детство с испуганными глазами86
Олег ГУБАРЬ Удельный переулоч93

Борис РЕЗНИК

Пациент из моего детства*

Створки окна, у которого стояла кровать, были распахнуты, и ничто не препятствовало свежему вечернему, но еще по-сентябрьски теплому воздуху проникать в комнату. Только что мама, как обычно, поправила мою подушку и одеяло, поцеловала меня, пожелала доброго сна и, задержавшись на пороге, напомнила: "Боренька, смотри, не потеряй продовольственные карточки, когда утром будешь возвращаться из хлебного". Она могла бы и не говорить об этом: даже для меня, десятилетнего мальчика, были ясны катастрофические последствия подобной потери.

Почему-то сегодня никак не удавалось быстро заснуть. Возможно, сон перебивали мысли о запланированном с приятелями посещении загадочного магазина под названием "Торгсин", о котором по городу ходили самые невероятные слухи. А может быть, просто мешали различные звуки, четко слышимые в вечерней тишине, прислушиваться и отгадывать которые было моим любимым занятием. Вот раздался негромкий гудок паровоза, вслед за которым послышался многократно повторяемый лязг вагонных буферов: совершенно ясно — это на вокзале маневровый паровоз формирует железнодорожный состав. Вслед за этим над городом пронесся мощный гудок корабля: многократно отразившись от зданий, он создавал ложное представление, что в город прибыла целая флотилия. К гудкам было интересно прислушиваться и ранним утром: в разной тональности и с различной силой они оповещали о начале трудового дня, а днем в звуковом портрете города к уличной разноголосице присоединялись звонки трамваев и редких еще в ту пору автомобилей.

Но был один день в году, когда все эти звуки сливались в одну, ни с чем не сравнимую по мощи симфонию. Впервые я услышал ее зимой 1925-го года, мне было неполных пять лет. Папа, мама и я ужинали за небольшим конторским столом, заменявшим нам столовый, с потолка свешивалась электрическая лампочка, ярко освещавшая скромное убранство комнаты. Папа просматривал газету, а мама уткнула нос в очередной роман, который ей, как всегда, дали только на два дня. Я ковырял вилкой в тарелке и думал о непоследовательности взрослых — сколько раз они убеждали меня, что читать за едой вредно, "пищеварительные соки плохо выделяются, и пища не усваивается". Внезапно яркость света лампочки понизилась, и из окон донеслись гудки одновременно и заводов, и фаб-

*Окончание. Начало в кн. 15 Альманаха.

рик, и паровозов, и пароходов. Они волнами неслись над городом в течение нескольких минут, а затем постепенно стихли. Дамочка вновь ярко засветила. С тревожно бьющимся сердцем я слушал объяснение отца: год назад, 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут вечера умер Ленин. Эта поминальная церемония повторялась ежегодно и прекратилась только в 36-ом, может быть, в 37-ом году.

Некоторые звуки, проникавшие в мою комнату сквозь окно, зарождались непосредственно во дворе дома. В ночное время самым важным из них был звон колокольчика, висевшего у окна дворнички. Он был следен каким-то умельцем из гильзы снаряда и поэтому издавал как бы надтреснутые звуки, которые невозможно было спутать ни с какими другими. Дворник Лаврик заперал ворота ровно в 12 часов ночи, запоздавший скрип отворяемой двери, шаркающие шаги дворника по деревянному настилу подъезда, стук металлической двери смотрового окошка и лишь после этого легкий скрип открывающихся ворот. На несколько мгновений воладралась тишина, и в этой паузе я совершенно отчетливо себе представлял, как в сложенную горстью руку Лаврика пришедший опускает несколько монет (такую картину я видел воочию, когда однажды вернулся с родителями поздно из театра).

Но в последние годы были ночи, когда колокольчик звонил совсем иначе. Это сигнал был продолжительным, настойчивым и даже требовательным. Лаврик знал, кто может себе позволить звонить подобным образом, поэтому отпирал ворота значительно быстрее обычного. В подъезде раздавался грубый звук нескольких пар сапог и приглушенный разговор — это Лаврику называли нужную квартиру и фамилию жильца. Многоточисленные жильцы тревожно прислушивались, куда направляются шаги пришедших. После звонка во входную дверь квартиры раздавался женский крик, иногда плач детей, и затем наступала тишина. Служба несколько часов звуки повторялись в обратном порядке и лишь с одним изменением: к шагам ночных посетителей присоединялись шаги арестованного хозяина квартиры. Нет, то не был еще пресловутый 1937 год с его арестами, репрессиями и расстрелами, то была еще предлюдия к нему, остроумно названная одеситами "золотухой". Суть этой ширококаштановой кампани состояла в насильственном изъятии золота и драгоценностей у бывших напманов, остатков "эксплуататорских классов" и вообще, у всех тех, на кого поступил "сигнал" (читай — донос) в компетентные органы о сокрытии "нетрудовых" доходов.

Арестованные в годы "золотухи", в отличие от репрессированных "врагов народа", кто раньше, а кто позже, но все же возвращались домой. Они все упорно отказывались рассказывать, что с ними происходило во время заключения. Но один очень близкий мне человек через много-много лет открыл мне тайну происшедшего с ним в те годы. Его приветливо встретил следователь, предложил папиросу, а затем очень вежливо попросил добровольно сдать в пользу государства для строительства объектов сталинской пятилетки те ценности, которые по его, следователя, данным у арестованного есть. В случае отказа он будет задержан на несколько дней, однако, дескать, беда в том, что места имеются только в переполненных до предела камерах, где сидят уголовники. Рассказавший мне эту историю, несомненно, был умным и понятливым человеком, он немедленно написал жене записку следующего содержания: "Дора! Отдай подавляю всего все — ты знаешь, где оно спрятано. Бог с ним, с сережками и кольцами моей незабвенной тещи, зато следователь обещает, что завтра я вернусь домой. Твой Давид". Следователь сдержал слово, и мой покойный тесть — "новоспеченный спонсор" строек 1-ой пятилетки действительно уже на следующую ночь прижимал к груди свою верную жену — мою будущую тещу.

Но в описываемые мною вечер и ночь колокольчик у окна квартиры Лаврика вел себя спокойно, и я, наконец, погрузился в сладостный сон.

Я проснулся от лучей солнца, ярко освещавших мою маленькую комнату. Правда, слово "мое" было явным преувеличением: в действительности она числилась проходной в нашей коммунальной квартире, ибо находилась на пути следования нашей соседки из ее комнаты в кухню. Соседка была тактичной женщиной, а я — воспитанным мальчиком, поэтому мы старались не мешать друг другу: она — не шуметь, когда ребенок спит, а я — не затромбовать своими ипшниками ее путь следования. В квартире царил тишина, и это было признаком того, что все домочадцы рабжежались по своим делам. Первой уходила мама, которой предстояло тремя трамваями доехать до Перевыпи, где располагался завод, в бухгалтерии которого она с недавних пор работала. Побудительной причиной для того, чтобы забросить преподавание игры на фортепиано и овладеть профессией бухгалтера, была необходимость в получении продовольственной карточки более высокой категории. Действительно, когда мама принесла с завода "рабочую карточку", папа был посрамлен, ибо он был владельцем всего-навсего карточки служащего. Свою лепту как владелец детской карточки в продовольственное снабжение семьи вносил и я.

Но наличие карточки еще не означало беспрепятственное получение продуктов, предусмотренных ее отрывными талонами. Самым трудным делом было отоваривание карточки в магазинах так называемого "Церабокопа" (Центрального рабочего кооператива), в которые продукты поступали нерегулярно и в недостаточном количестве. Именно в те годы прочно утвердились слова: "дают" и "отпускают", заменившие старое "продают". К примеру, по дому разносился слух, что в магазине на Пушкинской уголок Большой Арнаутской, кажется, сегодня будут "давать" (или "отпускать") по талону "рыбные изделия", очень хорошую тельку, и все жильцы дома устремились за вожделенной рыбкой. Тогда же плетеная нитяная корзинка, легко умещавшаяся в кармане, получила бессмертное название "авоська", т. е. владеец, уходя из дому, говорит: "Авось, по дороге с работы удастся отоварить какой-нибудь талон продкарточки..."

Переход мамы на государственную службу был чреват для меня — школьника четвертого класса — рядом новых обязанностей. Во-первых, стоянием в очереди за хлебом, что было уже интересно: именно в очереди можно было узнать все местные и даже международные новости. Во-вторых (что было трудней), я должен был получить и донести до дома, не разлив по дороге, первое, обед для всей семьи из "Домовой кухни", которая была открыта на Пушкинской уголок Успенской, в шести кварталах от нашего дома. Тогда мама ставала ежемесячно часть наших продовольственных талонов.

Первым отреагировал на мои ежедневные походы в "Домовую кухню" сосед по парадному ходу и соученик по классу Буся Молодецкий: "Куда это ты каждый день ходишь с корзиной?" — однажды спросил он. Узнав о существовании неведомой ему и поэтому интересной "Домовой кухни", он заторжесился желанием посетить ее. На следующий день в условленное время он уже поджидал меня у двери своей квартиры, и мы кратчайшим путем, срезая углы кварталов и пересекая проезжую часть улиц по диагонали, помчались к цели. "К сожалению, обратный путь будет более протяженным, — заметил я, — придется идти по Пушкинской и Большой Арнаутской: там плитки тротуара уложены более аккуратно и поэтому легче сохранить равновесие и не пролить суп".

Осмотр "Домовой кухни" явно разочаровал моего друга: подподвальное помещение, обыкновенная плита, отапливаемая дугзой семян подсолнечника, и несколько больших кастрюль с готовой пищей. В те годы на такой вид топлива перешли многие одеситы: дугза сторала жарким пламенем и была сравнительно дешева. Правда, нужно было вставить в топку

голландской печи нехитрое приспособление, изготовлявавшееся жестяными на Привозе. Это был металлический цилиндр, разделенный горизонтальной пластинкой на два этажа: пластинка была перфорирована, и через многочисленные отверстия воздух поступал из нижней полновыпильцилиндра к дугзе, которая поэтому сторала полностью. Правда, дверку печи приходилось держать все время открытой.

"Полумаешь, — сказал мой друг, — и мы отапливаем квартиру дугзой". Пovarиха взгляла в мою кастрюлю три маленьких черпачка жидкого супа, в котором можно было заметить немногочисленные зерна перловой крупы, редкие картофелины с темными пятнами порчи и листки капусты. "Зато на второе у нас сегодня макароны по-флотски", — порадовала она меня. Засыпав во вторую кастрюлю три порции макарон из муки пшеничного помола (по числу прикрепленных слюков), она добавила туда три чайных ложечки молотого с жареным луком отварного мяса и полила все это тонкой струйкой коричневого подсолнечного масла. Хлеба не полагалось.

Когда мы направились домой, мой друг саркастически заметил: "Ты несешь корзину, будто в ней не кастрюли, а граната, снятая с предохранителя". Подобное наглое заявление требовало отпущения, и я его приду-мал: "Не каждый может нести корзину, не раскачивая ее и не проливая суп. Тут требуется ловкость жонглера-канатоходца и мускулы атлета", — заявил я. Как я и предвидел, Буся клянул, т. е. спустя несколько минут сказал:

- Боря, будь другом, дай поносить корзину хотя бы до Базарной.
- Что ты! Разве я могу рисковать обедом для всей семьи?
- Уверяю тебя, что не пролью ни капли!
- Слабо!
- Спорим, что не пролью!
- На что спорим?
- На интерес.
- Шутить?
- Ну, тогда на кинные...
- Дано, три твоих "красотки" против одной моей.
- По рукам!

Приведенный диалог требует пояснения. "Кинными" назывались кадрики из старых кинофильмов, причем, они делились на "простые" и "красотки". Последними считались те, на которых были хорошо различимы известные киноактеры: Бастер Китон, Гарольд Ллойд, Дуглас Фербенкс, Мари Пикфорд и им подобные. Кинные добывались различными путями.

Мы, мальчишки с Большой Арнаутской, находили их у ворот и во дворе дома, расположенного между Пушкинской и Риппельевской, в котором размещался склад кинофильмов Управления кинофикации: в нем пронаводился ремонт кинофильмов, во время которого вырезывались кадры с поврежденной перфорацией. Другие ребята выпрашивали кинные у киномехаников.

Тем временем я передал корзину Бусе, а сам пристроился позади него, приготовившись считать вытекающие из корзины капли супа. Как я и предполагал, мой друг проиграл пари еще задолго до того, как мы достигли пересечения Пушкинской с Базарной. Видимо, он не скрыл от соучеников факт своего поражения, т. к. на следующий день на перемене ко мне подошел Лева Кочубеевский, страстный спорщик и бузотер, и заявил, что уверен в своей победе. Я решил, что пришло время повысить ставки, поэтому согласился на соревнование лишь при условии, что он ставит против моей одной "красотки" — пять своих. Увы, его постигла участь предшественника. Затем то же произошло с Леной Серебряным и Босей Рубинштейном. Моя коллекция кинных пополнилась отличными "красотками".

Тревогу подняла моя мама. Вначале она грешила на повараху, подозревая, что та недоливает суп, но затем пришла к выводу, что потери связаны с тем, что я разливаю первое блюдо по дороге. Вечером она сказала: "Мальчику неудобно и тяжело нести неуклюжую кошелку с каштоулями. Сегодня я выдela в магазине ЗРК нашего завода отличные и недорогие судки. Завтра же их куплю."

Слова моей мамы, понятные всем моим современникам, нуждаются ныне в разъяснении. ЗРК ("Закрытые рабочие кооперативы") пришли в 1931 году на смену Церабкоопу, не оправдавшему себя в условиях карточной системы. В них объединялись по производственно-профессиональному принципу все трудящиеся и члены их семей. Мне помнятся такие названия, как "ЗРК железнодорожников", "ЗРК работников связи" и, конечно, "ЗРК студентов и преподавателей вузов", в котором начал работать в качестве экономиста мой отец после окончания без отрыва от производства соответствующего техникума. Постоянное, всем известное число прикрепленных к ЗРК пайщиков позволяло планировать снабжение магазинов товарами и своевременную их выдачу, что, в свою очередь, привело к сокращению очередей. Однако норма продуктов и их качество, разумеется, остались прежними.

Однако в это же время появились в полном смысле "закрытые" торго-

вые учреждения для ограниченного контингента одесситов. Они назывались "закрытыми распределителями". В моей памяти сохранились лишь два из них: Закрытый распределитель НКВД и Закрытый распределитель партийного и советского актива. Разумеется, об их работе сказать ничего не могу. Вспоминать лишь одну, полную скрытого смысла деталь. Отца одного из моих соучеников работал в Распределителе НКВД в скромной должности продавца магазина. Но и он получил возможность купить по очень низкой цене добротное пальто, которое, хотя и не являлось частью военной формы сотрудников этого ведомства, но было сконструировано столь оригинально, что выделяло владельца из общей толпы простых смертных. Пальто было шито из темно-серого коверкота по типу "рейдан", было всепогодным, т. к. меховой воротник и утеплитель могли быть отстегнуты. Сзади была пристроена вторая накладная спинка, а спереди — кокетка. Оно было украшено множеством красивых металлических пуговиц, и в талии перетягивалась матерчатым поясом с красивой пряжкой. Такие пальто нигде, кроме распределителя НКВД, не продавались, и их никто не носил, кроме сотрудников НКВД. Но у этого пальто была еще одна достопримечательность, приводившая нас, мальчишек, в трепет. В отсутствие отца наш соученик продемонстрировал, что в правом кармане пальто имеется специальное "окно", сквозь которое владелец пальто при необходимости может извлечь наган из кобуры, висшей на пояском ремне под пальто. Трепетали мы, трепетали и взрослые, которые неожиданно могли оказаться в числе "врагов народа"...

Второй названный мамой предмет — судки — представлял собой три небольших каштругли с плоскими крышками, установленными одна на другую в виде башенки. Они скреплялись специальным съёмным металлическим бандажом, снабженным удобной ручкой. Возможность пролить суп была, таким образом, сведена к нулю. К такому же итогу была сведена и моя спортивно-коммерческая деятельность. В дальнейшем я посещал "Домовую кухню" в одиночестве.

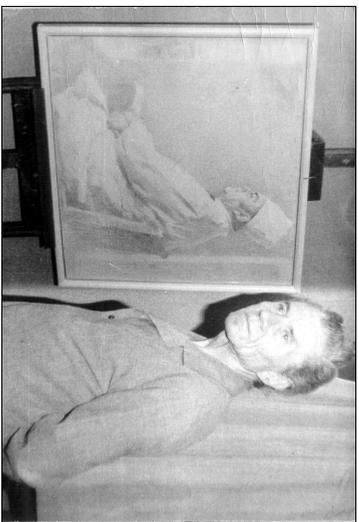
Моя "трудовая деятельность" не отражалась на своевременном посещении школы: как раз с этого учебного года наш класс был переведен на вторую смену, поэтому я успевал справиться со своими обязанностями до начала занятий. Правда, уроки приходилось готовить поздно вечером, с завистью прислушиваясь к голосам сверстников, резвившихся во дворе.

Моя школа находилась всего в двух кварталах от дома. Я ее очень любил, наверное, потому, что в свое время сам выбрал для себя. Произошло это в 1929 году следующим образом. Однажды мама перед очередной про-

гужкой по городу обратилась ко мне с необычным предложением: "Очень ты пойдешь в школу. Пора решить вопрос, в какую тебя определить. Хочешь принять в этом участие?". Можно ли было сомневаться в моем положительном ответе? Три школы нашего микрорайона располагались на одном квартале Большой Арнаутской, между улицей Белинского и Канатным переулком, все три были украинскоязычными. Единственная русскоязычная находилась дальше, на Успенской. Угловой была школа № 23. Она оказалась мне маленькой и незвучной (всего два этажа!).

Мое мнение не изменилось даже после того, как мама сообщила, что по вечерам она с папой посещает именно эту школу, в которой ходят курсы украинского языка, занятия на которых стали обязательными для всех государственных служащих в соответствии с проводимой "украинизацией". "Пусть себе ходят, а мне школа не нравится", — подумал я.

Забравшая 23-ю школу, я, тем не менее, не потерял в дальнейшем связь с тем местом, на котором она некогда стояла. Дело в том, что в годы войны эта школа была разрушена и результаты прямого попадания авиабомбы. В послевоенные годы на ее фундаменте был выстроен жилой дом для одесских художников, на пятом этаже которого были обустроены их мастерские. Одного из наиболее известных художников — народно-



то художника Украины академика Михаила Михайловича Божия мне довелось оперировать в связи с тяжелым заболеванием. Вскоре после операции он вернувшись к творческой работе и в знак благодарности решил написать мой портрет, для чего и пригласил меня в свою мастерскую. Во время сеансов позирования мы обсуждали различные проблемы и болтали, что началось общаться семьями. Его впечатления от нашего общения он отразил в статье "История одного портрета", которую поместил в газете "Вечерняя Одесса" 10 июля 1981 г., что вышло одним из наиболее памятных подарков ко дню моего шестидесятилетия.

Вернемся, однако, к вопросу выбора школы...
Надо сказать, что для нашей русскоязычной семьи украинский тоже

не был чуждым. Мои родители слыли театрами и часто посещали Украинский театр, который в то время назывался "Держдрама". По их мнению, это был лучший театр в городе. Приходя домой после очередного спектакля, они весело обменивались впечатлениями, упоминали названия пьес и имена актеров. Поэтому я уже тогда, пока заочно, знал Шумского, Ужвий, Нятко, Василько, Машивескую и других, равно как и названия таких пьес как "Яблоневый полон", в которой Шумский "был великолепен", "Лісова пісня", "Республіка на колісах" и др. Помню, что, по мнению мамы, Юрий Шумский в женской роли в пьесе "Тетя Чарльз" играл ничуть не хуже, чем самый известный ее исполнитель Степан Кузнецов — актер московского Малого театра.

Следующая, 56-ая школа, мне тоже не понравилась, хотя в ней размещалась районная детская библиотека. Была она еще меньше предыдущей, и еще более незвучной. В конце концов, библиотеку можно посетить, не будучи учеником школы. Последней по счету была школа, которую взрослые уважительно называли "48-я школа — бывшая гимназия Панченко". Она была высокой (цельх три этажа) и красивой. В ней были большие классы и широкие коридоры. В ее просторном дворе размещались мастерские, в которых ребят знакомили со столярным и слесарным делом. Помимо всех описанных преимуществ эта школа была овеяна для меня некой героической тайной. Недавно я стал свидетелем разговора двух мам, пришедших в школу за своими детьми-первоклассниками. Оказалось, что директор этой школы, некий Варшавский, был тропкистом, и "когда за ним пришли", ученики старших классов учинили настоящий бунт и в знак протеста "выпрыгивали из окон". Я не знал, что означает слово "тропкист" и почему хорошего директора следует за это арестовывать, но героический поступок мальчиков меня потряс. А вдруг и во мне до поры до времени дремлет герой?

Я не стал дальше выбирать и сказал маме, что хочу учиться именно в этой школе. Мама, как я понял, была согласна со мной, но совсем по иным соображениям. Как-то в разговоре с отцом она сказала: "Русский язык ребенок будет знать и без школы: он слышит дома правильную речь и его окружают книги на русском языке. Но раз он будет жить, учиться и работать на Украине, ему необходимо также знать язык коренного населения. Этому он может научиться только в школе". Как часто, делая свои первые шаги на врачебном поприще в сельском районе Николаевской области, я мысленно благодарил маму за ее мудрость. Как легко мне было общаться с моими первыми пациентами, и как достоверно они ко мне

музыка, доносившимся со второго этажа: это, несомненно, был патефон, и не один, а несколько одновременно. Действительно, на втором этаже продавались различные предметы бытовой техники. Патефоны были импортные, на внутренней стороне их крышек красовались торговые марки, мне запомнилась та, на которой была изображена собачка, внимательно прислушивающаяся к звукам из трубки граммофонной трубы. Вокруг всей картинки была надпись на английском языке: "Она узнала голос своего хозяина". Продавец положил новую пластинку на диск, и в зал полились чарующие звуки модной в то время песенки "Пятайнер", а из второго патефона тут же раздавалась очень красивая польская песня "Маленька Манон". Наше внимание привлекли велосипеды, шины которых были отлиты из чистейшего светлого-коричневого каучука, они сверкали хромом и были оснащены электрофарой...

Впечатлений было так много, что мы уже не обратили внимания на рулоны дорожных импортных тканей в отделе, расположенном по соседству, прошли мимо всего остального изобилия и в молчании покинули магазин. Вышли на Греческой стояла длинная очередь за хлебом, хмурые и плохо одетые одеситы непроизвольно ускорили шаг, проходили мимо "Торгсина", — мы вернулись из скалозного мира в нашу суровую действительность.

Дома я рассказал о нашем походе родителям. По мере того, как я делился с ними своими восторженными впечатлениями, их лица становились все более и более серьезными и даже суровыми. После довольно долгого молчания мама, наконец, сказала: "Оставляю в стороне вопрос о том, что ты пошел туда, не согласовав вопрос с нами. Думаю, что об этом скажет папа. Что касается твоего восторга от увиденного, то я его не разделяю. Ты ведь отлаешь себе отчет в том, что в стране голод, что люди умирают, особенно в селе, и что наша семья тоже едва сводит концы с концами. Это аморально: в таких условиях соблазнять людей возможностью сытно поесть, расставившись для этого с семейными реликвиями, которые достались им от предков и близких. Это аморально даже в том случае, если делается в целях индустриализации страны. Когда ты подрастешь, то поймешь значение поговорки: "Дорога в ад вымощена добрыми намерениями". А твой сегодняшний восторг — это, как говорится, пир во время чумы". Больше вопрос о "Торгсине" в нашей семье не возникал...

Миновал год, голод постепенно начал отступать, но в целом жизнь оставалась тяжелой. Продолжалось "уплотнение" коммунальных квартир. В мою маленькую проходную комнату была вселена пожилая женщина. Переступив порог квартиры, она отпрекомендовалась: "Вдова генерала

Императорского Генерального штаба Олега Бегельдеева". Вслед за ней были внесены необычные, явно дореволюционные вещи: два пуфика, софа и трельяж. Как и почему она из Петербурга попала в Одессу, оставалось для всех загадкой. На нашей входной двери появилась надпись: "О. Бегельдеевой звонить (или стучать) три раза". Изредка ее навещал престарелый полуглухой мужчина, вероятно, бывший офицер. Об этом нетрудно было догадаться, услышав в передней шелканье каблучков, звук поцелуя руки и слова: "Олга, Вы, как всегда, очаровательны". В ответ она целовала его в голову и провожала в комнату, откуда слышались громко и нарочито внятно произносимые слова их беседы:

— Вы помните новгородный бал у баронессы Н.?

— Как же, как же! Именно там я и был впервые представлен Вам.

— Ах, это было так недавно! Как бежит время...

Немوتря на аристократизм, "Бегельдейка" оказалась неуживчивой соседкой, склонной к сутяжничеству. Вскоре она затеяла тяжбу о переместить в статусе "проходной" со своей комнаты на нашу, где следовало установить фанерную перегородку для прохода всех соседей на кухню. (Подобными же "делами" в те годы были буквально завалены все суды.) Я спас свою семью от вторжения чужих людей не только в квартиру, но уже и прямо в комнату — наличие маленького ребенка, т. е. меня, помогло моему отцу выиграть дело в суде. Но в некоторых квартирах нашего дома соседки разделились таким образом, что одним достались комнаты с выходом на парадную лестницу, но без "удобств" и кухни, а другим — с кухней и выходом на "черный ход" — узкую железную лестницу, выходящую на второй двор. Процесс уродования добротного и относительно нового дома на этом не заканчивался. До сих пор в нем остались выдолбленные в широких капитальных стенах "ласточкины гнезда", где владельцы парадного входа хитрилились обустроить себе не только кухню, но и туалеты.

Скудность была не только в домах, но и в школах. Классы были переполнены: по 40-45 ребят в каждом. Работа в 2 смены не обеспечивала "охват школой" всех нуждавшихся, и администрация была вынуждена принимать не совсем обычные решения. Так, на 3-ем этаже "бывшей гимназии Панченко" часть коридора была отгорожена фанерной перегородкой, что позволило получить дополнительное учебное помещение. В этом фанерном классе я и учился. Более того, школа перешла на работу в три смены, последние уроки проходили поздно вечером, электричество в те годы отключалось часто, и занятия велись тогда в полной темноте. Я вспоминаю наш класс, едва освещенный единственной керосиновой лам-

пой, стоявшей на столе учителя, и нас, мальчишек, развлекавшихся, кто как мог. Но и в этих условиях учителя всеми силами стремились насытить нас знаниями, а мы, как пересохлая от зноя земля, впитывали их, как долгожданные капли дождя.

Любимым увлечением моих сверстников было чтение, читали всё, без разбора: от Пушкина, Шекспира, Жюль Верна, Дюма и до "Похождения Рокамболя" и "Занимательной физики" Я. Перельмана. В воскресные дни нас водили, разумеется, бесплатно, в музеи и театры. В школе успешно работал драмкружок, которым руководила учительница младших классов Вера Львовна Глацк, мы репетировали у нее дома, и мне почему-то всегда доставлялись отрицательные персонажи фабрикантов и кулаков (последней моей ролью был Чирва-козырь в пьесе известного украинского драматурга Микитенко "Диктатура").

В начале 34-35 гг. школу возглавил новый директор, совсем еще молодой человек (даже по нашим тогдашним меркам) спортивного телосложения, у которого под пиджаком угадывались крепкие бицепсы. Наши девочки добывали к этому портрету привлекательные серо-голубые глаза и каштановые волосы с непокорным курчавым вихром над лбом. Звали его Григорий Маркович, и мы вскоре направили его ласковым прозвищем "Гриша", которое закрепилось и передавалось из поколения в поколение. Он об этом знал, но не сердился. Вскоре стало известно, что раньше он был учителем физкультуры, но закончил исторический факультет университета и переквалифицился на преподавание новейшей истории.

С его приходом в школе произошли некоторые важные изменения. Ему удалось добыть дефицитные учебники, и мы стали получать один учебник не на четверых, а на двух учеников. Спортивный зал переоборудовали, пополнили инвентарем, и у нас увеличилось количество уроков физкультуры. Одинажды во время большой перемены я забжегал туда, чтобы увидеть до сих пор мне неизвестные "параллельные брусья", их установкой руководил, сидя на новеньком "козле", сам Гриша, а когда все было готово, он сбросил пиджак и споровисто выполнил на брусьях комбинацию сложных упражнений. Восторженные ребята обступили его гурьбой, и он пообещал всем нам, что и мы сможем не хуже, если будем тренироваться, а зал будет для этого в определенных часы дня открыт.

В духе времени Григорий Маркович решил оборудовать в школе местный радиокружок. Увлечение радио было в те годы повсеместным. Многие мальчишки, в том числе и я, пользуясь описаниями журнала "Радио-копейка", мастерили детекторные радиоприемники. Но с их помощью удава-

лось понимать всего одну радиостанцию: РВ-1 имени Коминтерна, работавшую в Москве, — да и то, только на наушники. Вскоре в продаже появились ламповые радиоприемники, "БЧН", на верхней панели у них появились 4 микролампы, через репродуктор "Рекорд" они могли вещать громко и устойчиво, но для этого требовалась длинная антенна и батарейное питание. Естественно, это все было дорого и малодоступно. Большое внимание горожан уделялось радиоточке, подключенной к городскому радиотрансляционному узлу. Задачный радиокружок находился на втором этаже большого дома на Рижельевской утол Жуковского, где на первом этаже еще со времен нана находилась самый большой детский магазин под названием "Два слона". У нас в квартире тоже появился репродуктор на стене, и я помню, как осенью 33-го года мы с папой ждали очередной трансляции. Ровно в 6 часов вечера в "тарелочке" что-то щелкнуло, и приятный женский голос сказал: "Внимание, говорит Одесса! Работает радиостанция РВ-13 и городской радиотрансляционный узел. Прослушайте новости". По окончании новостей тот же голос объявил: "А теперь прослушайте трио Бетховена в исполнении: Лембергский — скрипка, Вайнер — виолончель, у рояля Саксонский". Этот ансамбль исполнителей в то время выступал на радио так часто, что окончание фразы диктора "... у рояля Саксонский" всем запомнилось и приобфело нарицательный смысл, равный в нашей обиходной речи современному ответу "Окей!" или "Порядок!" на вопрос "Как дела?".

Вернемся к школьному радиокружку. В предбаннике директорского кабинета был установлен усилитель, а в коридорах и в классах развешены репродукторы. Два энтузиаста — ученики старших классов Эония Авербух и Лесик Киркопуло, активно помогавшие Грише в радиофикации школы, за пять минут до начала большой перемены начинали передачу "Школьных вестей". Они сообщали не только о достижениях того или иного класса в учебе и результатах сбора металлолома, но и называли имена прогульщиков и нарушителей дисциплины, поэтому радиопередачи хоть и нравились, но их немного и побаивались — прешки водились за каждаым...

В марте 1935 года на школьном собрании, посвященном Дню Парижской коммуны, Григорий Маркович сообщил о начале строительства в центре города трех больших новых школ. Их открытие должно было ликвидировать перегрузку ныне действующих школ и обеспечить нормальные условия учебы. Наше дружное "Ура!" было естественной реакцией на слова директора о том, что одна из трех школ будет расположена поблизости, на месте старого базарчика, и в нее смогут перейти несколько

ко классов из нашей школы. Вскоре стало известно, что еще до окончания ее строительства директором этой новой школы был назначен наш Григорий Маркович. Он стал часто убегать на стройку, о чем-то спорил со строителями и обсуждал с некоторыми педагогами детали обустройства классов. Новая школа, которой был присвоен номер 100, росла буквально на глазах. Ее строили и днем, и ночью в фантасмическом свете прожекторов. Башенных кранов тогда не было, и рабочие на собственных спинах по наклонным сходням заносили наверх весь строительный материал, но, тем не менее, уже через 5-6 месяцев, как раз к началу 1935-36 учебного года, строительство было завершено. (Одновременно были построены 117-я школа на углу улиц Рихельевской и Жуковского и 119-я — на Александровском проспекте...)

Последний день каникул — это всегда особый день: каникулы вроде бы закончились, но и учеба пока не началась. Между собой борются два желания: еще немного погулять или пойти домой и приводить в порядок книги и тетради, но этот день — 31 августа 1935 года — был для нас особенно тревожным, т. к. еще не было известно, какие классы перейдут в новую школу. Мы с моими двумя друзьями решили все-таки отдать предпочтение развечению и отправились на всеми нами любимый велотрек, который находился недалеко — напротив Отрады. Велоспорт был всегда любим одеситами. Имена велосипринеров были не менее известны, чем имена футболистов. В те годы особенно знаменит был динамовец Рыбальченко, часто побеждавший своего постоянного соперника Гейнемана, приезжавшего на соревнования из Киева. Рыбальченко возглавлял команду одесских велосипедистов, совершивших небывалый по сложности велопробег Одесса — Дальний Восток, протяженностью в 14 тысяч километров! Имена одесских велосипедистов стали тогда известны всему миру. Как мне было жаль, когда этот признанный центр велоспорта был в 60-е годы снесен под стройплощадку новой оперетты!

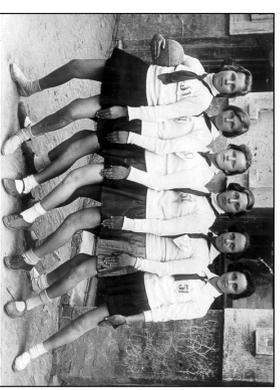
В тот день велотрек был заполнен зрителями до предела. Кое-как мы нашли места на скамье последнего ряда и выгромоздились там во весь рост. Соревнования были очень интересными — участвовали лучшие велосипедисты Одессы и Киева. Вылетая на выражки, они принимали почти торжественное положение по отношению к дорожке трека, и, приветств с седел и бешено вращая педали, летели к финишу. Очень интересны были тонки за лидером — мотоциклистом в широочной кожаной куртке, задачей которого было рассекать своим телом воздух перед велосипедистами.

В перерыве между заездами я оторвал взгляд от дорожки и осматрел-

ся. На соседней скамейке стояла, так же как и мы, во весь рост, девочка, которая была чудло как хороша! На ней, по тогдашней моде, была подогатая футболка со шнуровкой на груди. Рукава были закатаны до локтей, обнажая очень красивые руки. Синяя сатиновая юбочка едва прикрывала такие же красивые колени, а на ногах были белые носочки и белые матерчатые спортивные туфли на резиновой подошве, так называемые "тенниски". Ее голову со слегка выщипанной черными волосами зашпищала от лучшей солища импровизированная треугольная шапочка, сложенная из газетного листа. Девочка показала мне такой красивой, что я не мог перевести дыхание от восторга. Все оставшееся до конца соревнований время я посвятил тому, чтобы привлечь ее внимание к своей особе. Громкими возгласами я подбадривал велосипедистов, соскакивал, а затем вновь вскакивал на скамейку, оживленно жестикулировал и, как мне казалось, уместно острли. Все мои усилия были напрасны. Так я и ушел с велотрека, не узнав ни ее имени, ни адреса, ни номера школы, где она учится.

Утром следующего дня сообщили, что наш класс переводится в новую школу. Мы быстро собрали свои классные реликвии: старый глобус, указку учителя, последний номер стеной газеты и, конечно, красный вымпел за лучшее санитарное состояние класса, построились и организовано направились к новому месту учебы. К новой школе стекались колонны учеников и из других школ района, и в одной из них я внезапно увидел свою вечернюю незнакомку. Я воспринял это и как подарок судьбы, и как поощрение к дальнейшим действиям.

Знакомство со школой началось после приветственного слова Григория Марковича. Прежде всего, нас поразили учебные кабинеты, которых в прежней школе не было. Я задержался в кабинете физики и долго рассматривал шкафы, заполненные интереснейшими приборами, о которых я знал пока только из книг: электрофорная машина, лейденские банки, катушка Румкорфа и даже телеграфный аппарат Морзе. Еще нас всех поразило несоразмерно большое количество гуалетов: не менее 6-8 на каждом этаже. Лишь значительно позднее, изучая военную медицину в институте, я понял, что в проекте этих новых школ учитывалась возможность их



Прекрасная незнакомка с велотрека оказалась еще и велосипедисткой! (Крайняя справа.) 1935 г.

быстрого перепрофилирования в госпитали для раненых. Время, данное нам для ознакомления с новым зданием, я использовал также для того, чтобы навести справки о понравившейся мне девочке. Вскоре я уже знал, что ее зовут Циля (какое прелестное имя!), но чаще ее называлот ласково-уменьшительным "Циленька", что учится она в восьмом классе, т. е. старше меня на год, и живет в Отраде. Не прошло и нескольких дней учебы в новых стенах — и все мои соученики убежденно стали говорить, что "Бора бегает за Цилей", — так на нашем сленге называлось ухаживание за девочкой. Спустя 2-3 месяца я получил разрешение провояжкат ее после школы, а еще спустя короткое время — нести при этом ее портфель. Мы подружлись, стали вместе готовить уроки, каждый — свои, играли в игры: шахматы, шашки, "кремушки", ходили вместе в кино. Мы познакомились с родителями друт друга и поняли, что они не имеют ничего против нашей дружбы. Но иного мнения был педагогический коллектив школы, пригтавший немало усилий, чтобы нас разлучить. Поскольку ни беседы с нами поодинчке и вместе, ни беседы с нашими родителями не дали желаемого результата, к "вопросу о Боре и Циле" был подключен директор. Однажды



Некоторые педагоги вновь выстроеной школы № 100 среди учеников 6-го класса. Ш ряд (в центре): Григорий Маркович Радавинский — директор, Ева Марковна Волопина — "историчка", Александра Исаевна Кальфа (супруга известного окулиста) — "немка". У рая: Павел Семенович Тексеки — "руссак" (в центре), Александра Дмитриевна Солтыс — "онолгычка" (вторая справа), 1935 г.

в мой класс вошла наша классная руководительница Ева Марковна и сообщила, что меня срочно вызывает директор. Глядя сидел, нахмурившись, и был в явном затруднении, с чего начать наш разговор. Видимо, педагогическая наука тогда, равно как и ныне, еще не разработала должных рекомендаций в случаях ранней влюбленности. Наконец он прервал молчание:

— Мне сказали, ты стал хуже учиться...
— Это вы про тройку по-немецки, так я ее давно исправил.
— Нет, я имею в виду, что с некоторых пор у тебя не хватает времени на учебу.

— ??? — я изобразил крайнее удивление на лице.
— Ты же каждый день провозжаешь Цилю домой.
— Я оберегаю ее от хулиганов, она же живет в Отраде, а там их полным-полно.

— И ты уверен, что справишься с ними?
— Я занимаюсь гангельной гимнастикой.

На лице бывшего учителя физкультуры появился профессиональный интерес:

— Какого веса гантели ты используешь?
— Ну, точнее сказать, это не гантели, а два маминих чулуных утюга...
— Будь осторожен с весом — ты можешь надорвать себе сердце, — упоминание о сердце вернуло его к основной теме нашей беседы. — А что говорят родители о вашей дружбе?

— Они не возражают, а мама говорит, что Циля ей нравится, и прежде всего — своей скромностью...

Задав еще несколько вопросов, Григорий Маркович окончательно убедился в отсутствии необходимости принимать административные меры в этом случае. Он отпустил меня и напутственно произнес: "Я надеюсь, что вы не огорчите ни своих родителей, ни самих себя, ни нас — ваших учителей".

Когда я возвратился в класс, двадцать пар глаз вопросительно уставились на меня, и я быстро выпалил то, что было им наиболее понятно: "...у рояля — Саксонский!". Все облегченно вздохнули.

Минували год-полтора, заполненные важными событиями, про-



Сюзю двух юных сердец на всю жизнь... 1938 г.

исходившими вокруг нас: исчезли карточки и "распределители", открывались новые магазины, и полки их были заполнены товарами... "Жить стало лучше, жить стало веселее..." Но можно ли было назвать веселой эту жизнь, заполненную постоянной тревогой и страхом? Репрессии не только продолжались, они расширялись и ужесточались. Никто не мог себя чувствовать в безопасности: ни крупный руководитель, ни рядовой гражданин, ни расказавший анекдот, ни слушавший его... Почти ежедневно, приходя в школу, мы узнавали о разоблачении вновь выявленных "врагов народа", и неожиданно ими оказывались и самые авторитетные люди, такие, например, как известный всем школьникам секретарь компартии Украины Постышев, вернувшийся детям в 34 г. праздник Новогодней елки. Мы плохо рабировались в ошибках учителей такого высокого ранга и удивлялись только тому, как они ловко и умело "маскировались". Распространенное в то время выражение "НКВД не ошибается" было аксиомой. Колокольчик над дверью дворничкой продолжал по ночам звонить, он прерывал мои кошмарные сны и заставлял меня задумываться: "Кто же "они", эти люди, успешно разоблачающие врагов: "люди с торчащим сердцем и чистыми руками" или...". Продолжить этот вопрос я боялся даже в мыслях. Взрослые не посмели бы мне ответить на него, и только мама неустанно повторяла мне: "Боренька, прощу тебя, могло тебя — держки язык за зубами!".

Судьбе было угодно так распорядиться, что я в то время не только позанимался, но и часто бывал в доме одного из главных НКВДистов Одессы. Началось с того, что в октябре 1936 года в наш класс привели нового ученика. Он был небольшого роста, опрятно и скромно одет, но на голове у него была модная тогда бархатная тюбетейка, как у Мамлакат — девочки с бесчисленным количеством косичек, которая обнимала на газетной фотографии самого Сталина. Учитель раскрыл классный журнал и заинтересовался его именем и фамилией. "Шура Чердак", — ответил мальчик. Столь необычная фамилия, похолодевшая, скорее, на прозвище, вызвала



Шура Чердак — в неизменной тюбетейке. Боря Резник — в обложке Чехова-невидимки из одноименного кинофильма, 1937 г.

наш дружный смех. Мальчик смутился и покраснел, мне стало жаль его, и я попросил учителя посадить новичка на простоявшее рядом со мной место. Так состоялось наше знакомство, а что мой новый сосед является единственным сыном заместителя начальника Областного управления НКВД, я тогда даже не подозревал.

Шура оказался хорошим парнем, не робкого десятка, дружелюбно настроенный ко всем ребятам и особенно ко мне. Мы быстро подружились, и я взялся ему помогать донять класс по некоторым предметам. Была только одна странность: он упорно отказывался от занятий и у меня, и у него дома. Много позднее я догадался, что в это время я и мои родители изучались в компетентных органах для дачи разрешения на продолжение нашей дружбы. Только по прошествии месяца Шура неожиданно пригласил меня к себе домой, пообещав показать кое-что интересное. В назначенное время он подкинул меня у ворот двухэтажного дома на улице Бебеля, где трамвай поворачивал с Ремесленной на Польскую и следовал дальше в порт. На доме была вывеска "Транспортный отдел НКВД". Шура объяснил, что к моменту их приезда в Одессу второй этаж дома переоборудовали в квартиру. Мы вошли, нас встретила невысокого роста женщина — его мама, на которую Шура был поразительно похож, — приветливо поздоровалась со мной и тут же ушла к себе. Чувствовалось, что Шура здесь пользуется полной свободой. Он тут же начал меня знакомить с квартирой, начал со своей комнаты, обставленной со спартанской простотой — кровать, стол, этажерка с книгами. Но коллекция почтовых марок, которая и была обещанной мне "чем-то интересным", была бесспорно хороша. Затем Шура предложил взглянуть на библиотеку отца, и мы направились в кабинет. Там стояли у стен шкафы, заполненные множеством книг в красивых переплетках. Прежде, чем начать их рассматривать, мы подошли к большому письменному столу, на котором стоял чернильный прибор с фигурой кавалериста на коне и с обложенной папкой. Шура открыл дверцу одной из тумб и выдвинул один из других три ящика, доверху заполненных оружием. Я буквально онемел от удивления и восторга. Нагань, браунинги, кольты и маузеры были небрежно свалены в кучу. На деревянной кобуре маузера красовалась надпись "За участье в боях с белополюками", на некоторых других пистолетах и револьверах тоже были подобные надписи. Это говорило о том, что это личное наградное оружие выдано. На мой немой вопросительный взгляд Шура ответил: "Папа — участник гражданской войны, а сейчас он возглавляет в Одессе борьбу с контрреволюцией". Мы перешли к осмотру книг. Поч-

ти все они были выпущены издательством "Академия", опечатаны на прекрасной бумаге и богато иллюстрированы. Я держал в руках "Сказки тысячи и одной ночи", — книгу, за которой уже давно охотился, когда в кабинет неожиданно вошел высокий человек в военной форме, на петлицах которой я увидел три ромба, что соответствовало армейскому званию — "командир". Это был отец Шуры — Михаил Александрович Чердак. Он не выразил удивления или недовольства тем, что мы сами зашли в его кабинет, ласково потрепал сына по волосам, поздоровался со мной за руку и, посмотрев на меня сквозь очки в роговой оправе, сказал: "Так ты и есть тот самый Боря! Ну что же, рад буду, если вы подружитесь". Заметив у меня в руках книгу, он добавил: "Ты можешь взять ее домой, если будешь бережно и аккуратно обращаться". С этими словами он направился в столовую, где его ждал обед. По дороге домой я думал, что его дальнейшие события ничем не хуже описанных в книге приключений халифа Гарун Аль-Рашида, которую я нес подмышкой...

С тех пор мы с Шурой часто вместе играли и занимались то у меня, то у него дома. Во второй раз я встретился с Чердаком-старшим примерно через месяц. Мы с Шурой ломали голову над сложной геометрической задачей, когда его отец, приехавший домой пообедать, зашел к нам. Он посмотрел условие задачи, подумал несколько минут и совершенно точно указал нам правильный путь решения. Я был поражен, но Шура после ухода отца рассказал, что тот в свободное время берет уроки по разным предметам у репетиторов, в настоящее время, например, к нему приходят преподаватели математики и французского. Быт этой семьи был достаточно необычным, ее обслуживали две машины: одна марки "Форд", которой пользовался отец, и другая — точная копия первой, но уже производства нового Горьковского автозавода, прозванная в обиходе "Эмкой", — для остальных членов семьи. Обе машины парковались в гараже НКВД на Канатной. Этот гараж пользовался в городе страшной славой, говорили, что там в моторном цеху под рев автодвигателей приволились в исполнение приговоры "врагам народа".

Для вызова автомашины достаточно было позвонить дежурному и сказать: "Пришлите машину Чердака на квартиру", и спустя несколько минут она подъезжала к воротам дома. Шурина мама ездила на ней в "Закрывать распределитель НКВД" и другие магазины, а нас с Шурой иногда доставляли на ней в театры, где мы беспрепятственно проходили на спектакль по специальному красным книжечкам и сидели в так называемой

"правительственной ложе". Публика на нас глаза и неодобрительно перешептывалась, и это было крайне неприятно. Лишь однажды администратор, выслушав по телефону просьбу Шуриной мамы, извинился за то, что не может выделить места в правительственной — она уже была зарезервирована для семьи секретаря обкома партии, но пообещал усадить мальчиков на хорошие места в партере. И это был тот приятный случай, когда на нас никто не обращал внимания, и мы преспокойно смотрели на сцену. В тот вечер в Русском театре шла злободневная пьеса под названием "Очная ставка", написанная известными журналистами, скрывавшимися под псевдонимом "братья Тур", и не менее известным следователем Генеральной прокуратуры Л. Шейниным. Она была посвящена разоблачению немецких шпионов. (Немецкую шпионку играла популярная в те годы одесская актриса Майбус.) По сюжету пьесы старый портной Гуревич утجوит костюм одного из своих постоянных клиентов и неожиданно обнаруживает в одном из его карманов листок бумаги, на котором под воздействием тенга проявился зашифрованный текст. Он тут же надевает пальто и собирается уходить. Между ним и его женой происходит диалог, который я помню дословно:

- Куда ты собрался?
- Я иду звонить по телефону.
- Кому ты собираешься звонить?
- Я иду звонить в НКВД.
- И что же ты хочешь им сказать?
- Я скажу, что обнаружил донесение шпиона.
- Но ты же их всегда критикуешь!

— А разве, критикуя детей, мы перестаем их любить?!

При этих словах зрительный зал разразился бурными аплодисментами. По ходу спектакля шпионку разоблачили и обезвредили. (Позже игравшую ее актрису в жизни постигла та же участь, и она навсегда исчезла с театрального горизонта Одессы.)

Летом семья Чердаков выезжала на дачу, находившуюся у моря в Амбуглаторном переулке на 16-й ст. Большого Фонтана. Я часто бывал там, и мы вместе с Шурой купались, загорали и занимались ловлей бычков. Иногда на дачу приезжали и другие ребята, а один раз был приглашен даже весь класс вместе с классным руководителем, но чаще всего на даче было тихо и безлюдно. Не помню шумных застолий даже в воскресные дни... Однажды я засиделся допоздна, и Шурина мама предложила мне переночевать на даче, пообещав, что утром, когда муж будет ехать на службу, ма-

шина подбросит меня домой. Поздно вечером Чердак-старший вернулся из города, вид его был необычен, он был явно сильно утомлен, ни с кем не поздоровался, отказался от ужина и молча уединился в свою комнату. Щура пояснил, что в таких случаях папу лучше не беспокоить. По понятным причинам я возвратился утром в город трамваем.

Нашел ли я ответы на мучившие меня вопросы, познакомившись с этой семьей? Нет, я запутался еще больше. Действительно, внешне они были приятными и достаточно интеллигентными людьми, не кичились своим положением в обществе. Чердак-старший совсем не производил впечатление человека сурового и жестокого, к нему иногда даже легче было обратиться с какой-либо просьбой, чем к Щуриной маме. Конечно, в их жизни не было тех трудностей, с которыми встречались остальные граждане, но это уже был установившийся в стране стиль жизни "ответственных работников", к которому окружающие уже привыкли и некоторые даже оправдывали. Но одно дело — жить в достатке, а совсем другое — осуществлять репрессии и даже руководить ими!

Потребовалось прожить еще 20 тяжелых лет, чтобы унать всю (или только частично) правду о творившихся тогда злодеяниях. Все ошибки и чудачества Н. Хрущева можно было бы ему простить только за то, что он сорвал многолетнюю пелену с глаз людей, находившихся долгие годы под гипнозом культа личности.

В 1938 году Чердак-старший был переведен с повышением в Москву, и на этом закончилась наша с Щурой дружба. Вернувшись с фронта, я убрел его от передовой, не вызвало моего удивления: ведь и самый главный вдохновитель и организатор репрессий также послал своего сына на фронт...

Миновал еще один год моей юности. Пора было заняться выбором будущей профессии. Я долго колебался между желанием стать технарем или врачом. После девятого класса я на каникулах попал в настоящее царство техники — город Новое Запорожье, выросший за годы первых пятилеток на левом берегу Днепра у плотины Днепрогэса. Деньги на дорогу мне выслал мой любимый дядя, пообещав показать "все на свете". И та-



"Быть или не быть... врачом?"
1938 г.

38

кая возможность у него была, так как он занимал должность главного электрика одного из заводов комбината "Запорожсталь". Я действительно увидел все: Днепрогэс снаружи и внутри, доменный, маргеновский и прокатные цеха, разлив чугуна и прокат стали. Дядя Филд, мамин родной брат, был в полной уверенности, что одержал победу над своей сестрой, как все еврейские мамы мечтавшую увидеть своего единственного сына в белом халате врача. Однако жизнь показала, что он поторопился торжествовать...

К тому времени моя подруга уже училась на первом курсе медицинского института. По окончании школьных уроков я часто векакивал все в тот же знаменитый пультман, и он подвозил меня почти до самого медуна, где у анатомического корпуса меня уже поджидала Циля. Я снова брал в руки ее портфель, уже не ученический, а студенческий, из которого выглядывали красешек белого халата, и мы с ней бродили между корпусами института. Она, на правах "ветерана", показывала мне все, что уже успела узнать. Постепенно, еще не закончив школу, я проникнулся духом этого замечательного вуза, открывавшего дорогу к врачеванию, которое меня все больше и больше привлекало...

...Вот к дверям анатомки подъезжает на дрожках седовласый профессор, и я уже знаю, что это зав. кафедрой патологической анатомии и что он (проникнувший из семьи остзейских баронов) всегда в зачетке студентов ставит перед своей фамилией "Гизенгаузен" "частицу" фон". Я уже лично знаком с "дедушкой из анатомки" и знаю, что он не только звонками регулирует учебный процесс, но и продает дефицитные учебники и стетоскопы из пальмового дерева. Именно у него я купил для Циля учебник нормальной анатомии человека одесского профессора Лысенкова, "прочитав который хотя бы один раз, можно смело идти на экзамен".
Мое лицо уже примелькалось, и я не удивляюсь, когда ко мне внезапно подбегает студент и спрашивает: "Дружине, не знаешь, где можно отработать череп и сдать таа?". И я, прочитав все объявления на стендах за время, пока жду Цилю с занятием, даю ему совершенно компетентный ответ: "Зачет принимает добрейший ассистент Балда Эрез в анатомическом за-



Наша альма-матер

39

ле № 1". Он хлопает меня по плечу и улетучивается. Мы заходим в опустевшие аудитории, в которых скамьи амфитеатром возвышаются над кафедрой. На доске "самим Лысенковым" цветными мелками нарисованы мышцы верхнего плечевого пояса, нарисованы не хуже, чем в атласе Вольева, недаром Лысенков преподает еще и пластическую анатомию в Художественном училище... Я с увлечением читаю книги по истории медицины и нахожу в них имена моих земляков-о-десситов, восторгаясь особенно написанной Подем де Крюи книжкой "Охотники за микробами" и все больше и больше тяготею к медицине. К моменту окончания школы я принял решение и сообщил его родителям — возражений не было.

В последние годы учебы в школе все опустимее стало приближение войны; в том, что она неизбежна, уже никто не сомневался. Несколько уроков показывали слова маршала Ворошилова о том, что если война начнется, то будет происходить на чужой территории. В школе увеличилось число часов по военной подготовке. Военрук водил нас один раз в неделю на стрельбы в тир при недавно построенной школе № 101 — там имелось также бомбоубежище, вход в которое был прикрыт бетонными плитами. В помещении домоуправления, где раньше был "форпост", для детей разместились учебные классы ПВО: вместо шаек, шахмат и детских бильярдов разложили на полках противотазы, противовишпритные костюмы, санитарные сумки, в углу стояли носилки. Все чаще над городом раздавались звуки сирен, возвешавших об очередной учебной воздушной тревоге. В школу часто приходили представители пехотного и артиллерийского училищ и рекомендовали мальчикам связать свою будущую профессию с постоянной военной службой. Для этой же цели в городе была открыта новая десятилетка под названием "Спецшкола", призванная готовить будущих армейских командиров.

Весной 1939 года я получил по почте 14 открыток от ректоров разных вузов с предложением поступить учиться в возглавляемые ими институты. Открытки напоминали, что обладатели "Аттестатов отличника" принимаются без вступительных экзаменов и даже без предварительного собеседования. В то время ни у кого не возникало сомнения в достоверности школьных отметок; и жизнь подтвердила это — все известные мне отличники и в институтах учились не хуже, чем в школе.

Наконец наступил долгожданный день окончания школы. Григорий Маркович выглядел особенно торжественно: ему предстояло в четвертый раз за годы существования 100-ой школы выпустить сорок юншей и девушек, которых он узнал еще детьми, вручить сорок аттестатов и найти

для каждого подходящие напутственные слова. Начал он с восьми отличников. Когда очередь дошла до меня, он прозвнес: "Я знаю, что ты, Боря, хочешь стать хирургом. Желаю тебе успехов в осуществлении этого благородного замысла. Будь хирургом Резником, но отнюдь не "хирургом-резником". Вначале присутствующие в зале восприняли его слова не более как кагамбур, но позднее стало ясно, что он выложил в них глубокий смысл. Не потому ли спустя сорок лет он в трудный момент обратился именно ко мне?!

Через две недели после операции, когда я провозжал его до ворот больницы, мы вновь обнялись, и он сказал: "Спасибо, Боря, я рад, что не ошибся в тебе!". То был последний раз, когда он обращался ко мне на "ты". В дальнейшем, получая от него поздравительные открытки к празднику, я читал в обращении: "Уважаемый Борис Миронович и дорога Циленька!..".

Мы встретились еще один раз в стенах нашей школы на сорокалетию нашего выпуска. На фотографии, сделанной в тот день, Григорий Маркович сидит в центре группы, и лицо его, как и в далекие прошлые годы, озярено улыбкой. Отчетливо помню — я думал в тот миг, что в многотрудной жизни хирурга бывают и счастливые мгновенья.

Что осталось, кроме моих воспоминаний о тех годах? Сохранилось де-



Григорий Маркович (в первом ряду в центре) 26 мая 1979 г. на встрече с выпускниками школы 1939 г.



Тем временем внук Саша томится между бабушкой Цицей и молодой директрисой Полиной Ивановной Накурдой

училища", затем "Высшая партийная школа", затем, к моей радости, оно все же вернулось к тому делу, ради которого было построено. Это снова школа, — правда, под другим номером — средняя школа № 90 им. А.С. Пушкина. Но для меня она все равно "моя сотая" — школа моего детства и юности. Теперь она в нашей семье не только моя. Спустился полвека после меня ее окончила моя внучка. В день ее выпускного вечера, покинув торжество, я поднялся в знакомый класс и задумчиво прислушался к голосам соучеников и педагогов, отчужденно зазвучавших в моем воображении, и среди них выделился один, который прозвучал со знакомой интонацией: "Здравствуй, Боря!". То был голос Григория Марковича Радзинского.



Вероника КОВАЛЬ

Тропю трепетной и вечной

"Жизнь семьи, рода, клана глубока, уютовата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей, да еще преданиями, прошлым и сильна она."
Иван Бунин

Перед выездом из Украины Виктория Жукова по делам приехала в Одессу. Хотя времени было в обрез, она не могла не прийти на Успенскую. Сердце безошибочно показало ей путь. Она узнала этот дом, хотя никогда в нем не была. Над массивным трехэтажным зданием просматривался купол домово́й церкви. Дверь была закрыта, но женщине и не нужно было входить, потому что она и так знала расположение и вид комнат. Где-то справа на втором этаже помешались дортуары — спальные комнаты воспитанниц. Здесь бабушка, тогда еще совсем девочка, сидя на стуле, расчесывала волосы. Виктория послышалась даже, что кто-то вырл крикнул: "Лебедева, к тебе!", и бабушка заторопилась, даже не собрав волосы в узел. В приемной на первом этаже ее поджидал отец. Он ласково погладил дочь по плечу, передал узелок с домашними пирогами и растворился во тьме времени...

Викторино вернулся к действительности резкий звонок трамвая. Пожалеуй, лишь он напомнил о том, что на дворе начало двадцать первого века, а не начало двадцатого. Улица была малолюдна, только торопливо переходили дорогу молодая и старая монахини в черных одеяниях. Жукова пошла за ними, свернула в проулок и увидела церковь Свято-Архангелово-Михайловского женского монастыря, бело-голубую, совсем новую, как ей показалось. Вокруг храма полыхали пионы, розовели плоды на яблонях. Во внутреннем дворе среди цветников журчал фонтан, и стало у Виктории Эммануиловны так спокойно на душе, как не было с тех пор, когда по семейным обстоятельствам они решили всем семейством уехать на постоянное место жительства в Израиль. Ее внимание привлек стэнд, где сохранились сведения о долгой истории монастыря, его расцвете и уничтожении властью имущественными варварами, о возрождении. Виктория часто бывала в храмах различных городов, но нигде такого не видела. Она поняла и почувствовала, что здесь помнят и чтят память предков. Ей стало ясно: именно сюда нужно перелетать воспоминания о своей бабушке, Валентине Лебедевой, которая на заре двадцатого века была воспитанницей епархи-